

Кусок хлеба*

Рассказ

«Нет ничего дороже хлеба», — говорят чуваши.

Я это знаю, знаю с малых лет. Дни, когда мне удавалось поесть хлеба, остались веками в моем детстве.

Вспоминается один из таких дней...

Вот мама будит меня на рассвете:

— Говорят, в этом году инвалидам разрешат косить жнивьё. Сама же видишь — наша Лизук совсем больная, сводила бы ты ее в больницу. Может быть, дадут ей инвалидность, тогда у нас будет сено. Ведь без коровы мы пропадем, — говорит мама. И мне сразу становится страшно. Вот сейчас она скажет: «Кроме тебя идти некому». Правда, некому. У нас больше никого нет. А маме надо идти на колхозное поле — полоть свеклу, ее участок сплошь в сорняках, наверное, и сегодня не прополет.

Моей сестре одиннадцать лет, она старше меня на два года. Раньше Лизук была совершенно нормальной, но уже год, как с ней что-то случилось: все путает, а временами вообще ничего не понимает. И в деревне теперь прозвали ее «дурочка Лизук».

— Если Лизук дадут инвалидность, у нас будут деньги, и я сошью тебе новое платье, — говорит мама, умоляюще глядя на меня. — Кроме тебя идти некому.

Очень хочется верить, что она и вправду сошьет мне новое платье, но я знаю, что ничего этого не будет, — в нашем доме слишком много дыр. А на сердце у меня так тоскливо, как будто заблудилась в темном лесу. «Боженька! Боженька! — думаю я. — Где же эта больница? Куда нам идти? И вернемся ли мы до вечера?»

* Перевод автора.

А мамин голос становится уверенней, она воодушевляется, словно хочет сообщить мне радостную весть.

— А знаешь, в районе есть столовая, сводишь Лизук в больницу, зайди туда. Там часто продают хлеб. Если не будут давать отдельно, возьми суп, а уж с супом обязательно дадут кусок хлеба.

Хлеб?! Дальняя дорога больше не пугает меня. Мамины слова проникли в самый затаенный уголок моего сердца. Иногда, во время страды, в нашем колхозе давали по целому ломтю хлеба, и я его пробовала. Но я, девятилетняя, родившаяся в год войны, не помню, чтобы моя мама когда-нибудь пекла его.

Ради хлеба я готова была пойти хоть на край света.

— А до больницы далеко? — спрашиваю я, хотя знаю, что все равно пойду.

— Восемь верст. Выйдешь из деревни, пойдешь к селу Турхан. Его мельница видна издали, на нее и держи путь, никуда не сворачивай, иди по этой дороге и попадешь в район-центр. Больница — длинный белый дом.

Обрадованная моим согласием, мама вдруг умолкает, смотрит на меня долгим взглядом, словно сомневается в чем-то. Потом вздыхает и крепко обнимает меня. Мама обнимает меня, а я чувствую себя сиротой — мне надо идти в неизвестные дальние края.

На дорогу мы с Лизук выпиваем по чашке молока. Я ошупываю тряпочку, в которую мама завернула деньги. Потом беру Лизук за руку, и мы выходим на улицу.

— Дурочка Лизук! Дурочка Лизук! — кричат дети.

Я бы погналась за ними, но сейчас надо торопиться, поэтому иду молча. Лизук, как больной ягненок, тихо плетется за мной.

— Дурочка Лизук! Дурочка Лизук!

Я хочу быстрее выйти из деревни, чтобы не слышать насмешливых криков.

Ветлы села Турхан выше и темнее наших, они словно спрашивают: «Что вы тут делаете?» Подальше бы от них, и я тяну Лизук на середину дороги. И дорога здесь другая, хотя она покрыта пылью, а идешь по ней как по острым камням. За нами несется мальчик, оседлавший палку. Мы бежим от него и, чтобы спрятаться, вбегаем в какой-то дом, дверь ко-

торого открыта настежь. Оказывается, лавка. То ли потому, что я вышла из дома голодная, сразу же замечаю большой ящик с карамелью. И Лизук его заметила. Теперь дергает меня за рукав:

— Еля, купи мне карамель, купи!

Торопливо развязываю тряпочку. Но тут меня будто что-то кольнуло: ведь я хочу купить хлеба! Узелок надо спрятать. Но Лизук, всегда тихая и покорная, вцепляется в него и, стиснув зубы, тянет к себе. Я отталкиваю ее, но она опять и опять набрасывается на меня. Продавец с удивлением смотрит на нас. Изюм всех сил хватаю Лизук и выволакиваю ее на улицу.

Останавливаюсь оттого, что перехватило дыхание. Оказывается, мы бежали. По обе стороны — ровные поля. На краю дороги стоит мельница. Ее огромная тень дергается на ржаном поле. Вдалеке видно одно дерево. Оно, одиноко стоящее посреди огромного поля, почему-то кажется мне родным и близким. Смотрю на него и постепенно успокаиваюсь.

Как кипяток льются лучи света. Глаза щиплет от пота. Травы бессильно расстилаются по тропинке. Горяча не только пыль, даже листья обдают жаром. Лизук дышит тяжело, через каждые десять-пятнадцать шагов умоляет посидеть. Но если сейчас посидеть, потом вставать будет тяжело — она этого не понимает. Дорога бесконечна.

И вдруг мы с сестрой радостно вскрикиваем: нас догоняет воз, груженный всяким старьем. Это — знакомый старьевщик, он разъезжает по всем деревням, бывает и у нас. Старьевщик останавливает лошадь, мы рассаживаемся среди мешков тряпья и грязных шкур.

— Вы из какой деревни? — спрашивает старьевщик.

— Мы из Синьяла.

— Чьи дети?

— Мы дети Хеведусь.

Он и маму нашу знает! Это придает мне смелости, и я расспрашиваю его, где же здесь столовая и когда она работает. Вот счастье: столовая работает каждый день.

— А хлеб они там сами пекут?

— Нет, вон за столовой пекарня, там и пекут.

Пекарня, этот маленький домик с черной жестяной трубой, так и завораживает меня, она кажется мне той прекрасной страной, куда в сказках попадают в конце концов

добрые богатыри. На наш воз, пахнувший затхлостью и хлебом, ветер навевает медовый запах. «Хлебом пахнет...» — решится мне.

Мы слезаем с воза около столовой. Меня тянет туда посмотреть, есть ли там хлеб, но все же решаю по-другому: сначала надо дело закончить. Сделаю дело, а потом уж... а потом уж будет праздник! Я беру сестру за руку и веду к белому дому.

Держась за руки, мы входим в больницу.

Внутри — длинный коридор. По обе стороны — двери. Перед одной из них собралась толпа калек. Те, которым не хватило места на скамейке, стоят или сидят на полу.

— Здесь смотрят инвалидов? — спрашиваю я у высокого мужчины.

Он хочет ответить, но у него начинает трястись голова. Мне страшно, и я невольно отступаю назад. Мужчина, видя как напугал меня, и сам пугается и, чтобы заглушить свой хрип, одной рукой закрывает рот, другой указывает мне на дверь.

Мы располагаемся на полу. Вровень с моим плечом кто-то протянул на стул распухшую, завернутую шерстяным платком ногу. Поднимаю голову и вижу рядом на скамейке старую женщину, это ее нога так распухла.

— Что с вашей ногой? — допытываюсь я.

— Косили допоздна, вот в темноте и поранилась.

— Это хорошо. Вам запросто дадут инвалидность. А вот у моей сестры и ноги, и руки целы, только голова кружится.

Очередь двигается помаленьку: люди заходят и выходят. Все они могли бы быть здоровыми, крепкими, но один из них — без руки, другой — без ноги, а третий и вовсе без глаз. Я вспоминаю мамины слова: «Пусть без рук, без ног, слепой, но только бы ваш отец вернулся с войны...» Сейчас смотрю на таких людей, и каждый из них кажется моим папой...

— Кто-то трясет меня за плечо:

— Не плачь, доченька, не плачь, маленькая.

Успокаивающий — сосед мой. Он сидит, перевязанный ремнем, на маленькой тележке. Ноги его отрезаны выше колен. Культи он обернул пустыми штанинами, лоснящимися, как старая кожа. Но страшнее всего его руки: слишком длинные для короткого квадратного тела, их плоские ладони похожи на ступни ног.

А голос у него ласковый.

— Вот скоро домой пойдете. Фамилии ваши записали?

О том, что сначала надо было записаться, я слышу впервые.

Безногий дядя отталкивается обеими руками, тележка его катится по коридору. Он приводит меня в маленькую комнату и что-то там объясняет. Меня спрашивают, из какой я деревни и зачем пришла? И заполняют какую-то бумагу.

Возвращаемся обратно. Холодно в коридоре. Окна, выходящие на запад, кажутся совсем черными.

Неожиданно я слышу нашу фамилию. Наверное, это просто совпадение, нам с Лизук еще сидеть и сидеть. А безногий дядя кивает мне головой и улыбается, его лицо, напоминаящее растрескавшуюся глину, ласково светится.

— Идите, идите, вас вызывают.

Кто-то толкает меня в спину, кто-то открывает дверь, и мы оказываемся в большой комнате.

За длинным столом сидят трое: женщина в очках, мужчина и девушка, которая выбегала в коридор за лекарством. Лизук прижимается ко мне. Я сажаю ее на стул, стоящий перед врачами, и, чтобы ей не было страшно, кладу свою руку на ее плечо. Первой спрашивает женщина в очках и так пристально смотрит на нас, что Лизук вцепляется в мой фартук, а мне хочется спрятать куда-нибудь свои босые ноги. От страха я не знаю, что отвечать. Она ждет, потом начинает сердиться, почему-то ругает мою маму:

— Потом удивляются, откуда берутся такие, вон с детства без присмотра болтаются.

Тогда другой врач выходит из-за стола, подходит к нам, гладит Лизук по голове и расспрашивает про нашу маму, где она работает, почему сама не смогла прийти. А после этого обращается к больной:

— Сейчас зима или лето?

Лизук оборачивается ко мне, словно ждет от меня помощи. Но доктор делает мне знак, чтоб я молчала. Лизук хватается меня за руку и шепчет:

— Холодно! Мне холодно! Зима!

Женщина в очках усмехнулась. А я еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать.

— Когда шла сюда, что ты видела? — спрашивает женщина.

— Карамель видела... — тихо отвечает Лизук.

Больше Лизук не спрашивают. Молодая девушка очень долго слушает ее сердце, проверяет глазное дно.

— Твоя сестра не больна, — заключает потом женщина в очках. — Просто ее надо лучше кормить, ей надо давать масло, яйца, сливки.

В ее перечислении меня поражает слово «сливки». Разве сливки едят?! Их собирают для пахтанья, получившееся масло сдают государству, а вот пахта остается для нас. Пока я размышляю об этом, врачи пищут для нас какую-то бумагу.

Наконец мы выходим в коридор, и я с облегчением протягиваю эту бумагу безногому дяде. Оказывается, человека можно оглушить обыкновенными словами:

— Доченька, от этой бумаги вам никакой помощи. Твоей сестре дали только третью группу. Зайди еще раз, поговори с врачами. Скажи им прямо. Они скоро закончат, подожди немного.

Лизук дрожит. Мне тоже холодно. Вместо того, чтоб спросить о деле, я выпаливаю совсем другое:

— А до этого мы успеем сходить в столовую?

— Успеете! А деньги у вас есть? Тогда идите поешьте и приходите обратно.

Мы выходим на солнечный двор. От долгого сидения в темном коридоре в глазах темнеет, передо мной плывут желтые, зеленые круги.

Сразу зайти в столовую не хватает смелости — мы топчемся у двери.

— Вы в столовую? Если да — заходите, а то мы скоро закроем, — говорит девушка, стоящая на крыльце. И правда, сразу же за нами она накидывает крючок на дверь.

— Девочки, вам чего?

— Хлеба.

— На продажу хлеба нет.

Но я не теряюсь, я крепко помню мамины наставления, поэтому развязываю узелок и протягиваю мятую бумажку:

— Тогда дайте нам миску супа. А вместе с супом — хлеба. Нас двое.

Нам взвешивают два куска хлеба. Осторожно, будто двух только что вылупившихся птенцов, кладу их на ладонь. Они

еще теплые. Мой рот наполняется слюной. Но мы их съедем не сейчас. Моя мечта — как сказка: когда пойдем домой, мы сядем в поле у дороги: поле — огромное-огромное, вдалеке видно то дерево, которое показалось мне родным, мы сидим с Лизук на траве и смотрим на него, надо, чтобы поблизости никого не было, я разломлю один кусок пополам, и, никого не стесняясь, медленно-медленно, долго-долго мы будем есть хлеб... Хорошо бы другой кусок донести до дома... А там разделим его на три части — и опять будем есть хлеб!

Нам приносят миску супа. Мама учила нас всякую еду делить поровну, и мы решаем есть суп по очереди. Но ждоть, когда Лизук проглотит ложку, — мучение: мы вчера ели с ней свербигу, может быть, поэтому, а может, от простуды, но губы сестры сильно распухли, она не может глотать горячий наперченный суп, ждет, чтоб он остыл, дует. Это как насмешка надо мной, только душу травит. Не выдержав, я придумываю другой способ. Лизук безропотно соглашается. Теперь каждый ест по две ложки. Я проглатываю их мигом, потом сижу и жду. Наверное, до Лизук дошло, как я мучаюсь, она уже не дует, торопится, после каждого глотка стонет от боли.

На дне миски осталось еще три-четыре ложки, когда я увидела, что мимо окна проходит доктор. Куда он идет? Неужели закончили работу? А вдруг он пошел домой? Потом ведь его не найдешь!

— Лизук, ты сиди тут, смотри, без меня суп не ешь. И хлеб не трогай! — наказываю я и бросаюсь на улицу.

Догоняю доктора и трогаю его за рукав:

— Дядя! Дядя доктор!

Показываю ему бумажку:

— С этой бумажкой нам дадут сено?

Доктор не понимает моих слов. Тогда я спрашиваю во второй раз:

— С этой бумажкой нам разрешат косить сено?

По лицу доктора я вдруг догадываюсь, что по этой бумаге нам ничего не дадут. Передо мной по краю ясного неба вверх-вниз, вверх-вниз качается солнце, и его красные лучи широким потоком ползут ко мне по железной крыше. Я не могу объяснить по порядку. Вокруг нас собирается толпа. Слышится чей-то дикий крик.

— Оказывается, это я кричу:

— Мы умрем! Без коровы мы умрем!

В моей памяти крутятся зимние вечера, когда мы ходили воровать колхозную солому: далеко от деревни, в поле, открытый всем ветрам, стоит стог, дергаешь, дергаешь заледелую солому, а сама дрожишь — вот-вот схватит тебя сторож... Оглушенная, я кричу еще громче. Доктор гладит меня по голове. Его слова пробираются ко мне как сквозь толстую стену.

— Если бы вы жили в городе, твоей сестре назначили бы первую группу. У нее ведь руки-ноги целы, поэтому решили, что в деревне она сможет работать, вот и дали ей третью группу.

А я думала, что взрослые не ошибаются! Я задыхаюсь, мое дыхание — словно маленькая речка, которая хочет сбросить камень, преграждающий ее течение.

— Дядя доктор, что ты говоришь?! Ведь ее называют «дурочка Лизук»! Как она может работать? Вчера она вместе с мамой полола свеклу и вместо сорняков выдернула всю свеклу! Бригадир потом ругал нас! Сказал, что за такое вредительство сажать надо...

Силы мои иссякли. Я плачу. Доктор все гладит меня по голове.

— Успокойся, маленькая. Сейчас уже поздно, врачи разошлись. Приводи сестру на следующей неделе. Мы посмотрим ее еще раз. Я сделаю все, чтобы у вас была корова. Даю тебе слово. Эту бумагу оставь здесь. А маме скажи, что, мол, все хорошо, только печать не успела поставить. А сейчас идите, уже вечер.

Подолом фартука вытираю лицо и, обеими руками сжимая голову, которая дергается от икоты, бегу за хлебом, оставленным в столовой.

Лизук сидит на лестнице, а на двери столовой висит замок.

— Хлеб! Где хлеб?! — кричу я.

Лизук вскакивает и озирается кругом. Одним взглядом я обхватываю ее всю: карман фартука пуст, в руке тоже ничего нет.

— Хлеб, где хлеб, говори!

Лизук дрожит:

— Не... не... не знаю...

Бросаюсь к окнам столовой. Хватаюсь за наличники, подтягиваюсь вверх, смотрю сквозь стекло: там только пустые столы.

Я — опять перед Лизук.

— Куда ты дела хлеб?!

— Не знаю... Сказали, что закрывают, и я вышла сразу же после тебя. А хлеб-то ведь не наш, он остался на столе...

Чернота обволакивает все. И в середине этой черноты — Лизук, та, которая потеряла хлеб.

Я опять бросаюсь вперед. Мои кулаки ударяются обо что-то мягкое. Земля качается под ногами. Столовая то пропадает, то, сверкая своими окнами, ползет ко мне. Черные рамы окон стоят передо мной как ряды кладбищенских крестов. Отступаю назад. А кулаки мои, как цепи, молотят и молотят. Только когда раздастся тонкий жалобный крик, вся крепость в ногах и руках гаснет вмиг, и я оседаю наземь. Старые бревна столовой — цвета ржаного хлеба, от мха между бревнами слышится запах ржаного хлеба. Пыльная земля — как дно печки — горяча и пахуча. В этом мире, пахнушем хлебом, и цвета хлеба, только лицо моей сестры красно от крови.

Мы хватаемся за руки и бежим. Шелестит теплый вечер. Спускается солнце. На небе облака — как река с золотыми берегами и золотой рябью по воде.

Для огромного поля две девочки — только две былинки, даже слабый ветер сгибает нас, как бурьян. На ржи трепещет сияющий круг от заходящего солнца. Мне жаль его, жаль, я ведь знаю, оно должно радовать сердце, но сейчас оно кажется ненужным, как шюльгеме на шее голодной женщины.

... Кто-то спешит нам навстречу. Походка — мамина...

Видно, даже за целый день не иссякли мои слезы. Последние капли, горячие до того, что от них могут появиться волдыри на теле, падают на мамин фартук.

— Ну что, поели хлеба? — спрашивает мама.

В груди у меня что-то хрипит, я хочу проглотить комок, вставший поперек, но не могу ни проглотить, ни выплюнуть его. «Нет, не удалось нам поесть хлеба», — хочу сказать я, но вместо этого произношу совсем другое:

— Поели.

— Дочурка, а что ты вся в крови? — обнимает мама Лизук.

Сестра смотрит на меня, потом прячет голову под мамин фартук. Я вижу, как трясутся под фартуком ее ключицы. «Ах!» — говорит мама и обеими руками, с двух сторон, прижимает нас к себе.

Глаза высыхают. Моя душа свободна, как ветер в скошенном поле. Я рассказываю, как учил меня доктор. Мама смеется, радуется, как малое дитя.

В темноте мы приходим домой. Сразу же после ужина я засыпаю. Мне снится волшебный сон.

Будто мама затопила печь. На столе стоит квашня, пых! пых! поднимается тесто.

— Ой-ой-ой! Как бы тесто не убежало! — хлопочет мама, точь-в-точь как жена председателя (сама видела — знаю). Она приносит муку, насыпает ее на доску и начинает раскатывать тесто.

В это время стучат в окно. Я губами оттаиваю лед на стекле и сквозь маленькую дырочку смотрю на улицу. Там поднялся буран, я вижу, как рывками сдвигается край соломенной крыши соседкиного дома. Перед нашими окнами стоит толпа ребятишек. Они зовут меня:

— Еля, пошли воровать солому!

А я им говорю:

— А у нас полный сарай сена! Теперь никуда не пойду! В прошлом году я все ходила, столько уроков пропустила. Теперь ни одного урока не пропущу, буду хорошо учиться и выучусь на доктора. Как стану доктором, всем вам раздам сена!

Услышали они мои слова или нет, но, борясь с беснующейся выюгой, тронулись в поле. Крутящиеся вихри выбивают снег из-под ребячьих ног, ребята падают и вместе со своими санками проваливаются в сугроб.

Дома тепло. Мама уже выгребает жар из печи, вспыхивают, гаснут, бегут друг за другом голубые огоньки. Вот мама ставит хлеб в печь. Хлеб у нас не караваем, а отдельными ломтями.

Я улыбаюсь. От этой улыбки растаивает всякая боль и наступает блаженство. Не выдерживая его, глаза мои наполняются слезами. Я — самая счастливая девочка на свете. Я жду, когда выпечется кусок хлеба...